

**КЛАССИКА, КОТОРАЯ
ВСЕГДА С ВАМИ!**





*Скажи, что ты читаешь,
и я скажу, кто ты.*

А. ЧЕХОВ / А. БЛАН



Великий Гэтсби



Фрэнсис Скотт
Фицджеральд

Перевод
Евгении Калашниковой



Москва
2024

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44
Ф66

Фицджеральд, Фрэнсис Скотт.

Ф66 Великий Гэтсби / Фрэнсис Скотт Фицджеральд ;
перевод с английского Евгении Калашниковой. —
Москва : Эксмо, 2024. — 288 с. — (Время для же-
ланий).

ISBN 978-5-04-179541-2

«Великий Гэтсби» — это роман о последнем великом мечта-
теле и романтике. В порыве большой любви и с помощью без-
мерной энергии и выдержки некий Джеймс Гетц смог зарабо-
тать огромное состояние, обзавестись шикарным домом и даже
сотворить нового человека — Джея Гэтсби. Цель у всего была
одна — впечатлить её...

В книге — классический перевод Евгении Калашниковой,
одного из лучших переводчиков прозы с английского языка.

УДК 821.111-31(73)
ББК 84(7Сое)-44

© Калашникова Е., наследники,
перевод, 2024
© Оформление. 000 «Издательство
«Эксмо», 2024

ISBN 978-5-04-179541-2



Глава первая

В юношеские годы, когда человек особенно восприимчив, я как-то получил от отца совет, надолго запавший мне в память.

— Если тебе вдруг захочется осудить кого-то, — сказал он, — вспомни, что не все люди на свете обладают теми преимуществами, которыми обладал ты.

К этому он ничего не добавил, но мы с ним всегда прекрасно понимали друг друга без лишних слов, и мне было ясно, что думал он гораздо больше, чем сказал. Вот откуда взялась у меня привычка к сдержанности в суждениях — привычка, которая часто служила мне ключом к самым сложным натурам и ещё чаще делала меня жертвой матёрых надоед. Нездоровый ум всегда сразу чувствует эту сдержанность, если она проявляется в обыкновенном, нормальном человеке, и спешит за неё уцепиться; ещё в колледже меня незаслуженно обвиняли в политиканстве, потому что самые нелюбимые и замкнутые студенты поверяли мне свои тайные горести. Я вовсе не искал подобного

доверия — сколько раз, заметив некоторые симптомы, предвещающие очередное интимное признание, я принимался сонно зевать, спешил уткнуться в книгу или напускал на себя задорно-легкомысленный тон; ведь интимные признания молодых людей, по крайней мере та словесная форма, в которую они облечены, представляют собой, как правило, плагиат и к тому же страдают явными недомолвками. Сдержанность в суждениях — залог неиссякаемой надежды. Я до сих пор опасаясь упустить что-то, если позабуду, что (как не без снобизма говорил мой отец и не без снобизма повторяю за ним я) чутьё к основным нравственным ценностям отпущено природой не всем в одинаковой мере.

А теперь, похвалившись своей терпимостью, я должен сознаться, что эта терпимость имеет пределы. Поведение человека может иметь под собой разную почву — твёрдый гранит или вязкую трясину; но в какой-то момент мне становится наплевать, какая там под ним почва. Когда я прошлой осенью вернулся из Нью-Йорка, мне хотелось, чтобы весь мир был морально затянут в мундир и держался по стойке «смирно». Я больше не стремился к увлекательным вылазкам с привилегией за-

глядывать в человеческие души. Только для Гэтсби, человека, чьим именем названа эта книга, я сделал исключение, — Гэтсби, казалось, воплощавшего собой всё, что я искренне презирал и презираю. Если мерить личность её умением себя проявлять, то в этом человеке было нечто поистине великолепное, какая-то повышенная чувствительность ко всем посулам жизни, словно он был частью одного из тех сложных приборов, которые регистрируют подземные толчки где-то за десятки тысяч миль. Эта способность к мгновенному отклику не имела ничего общего с дряблой впечатлительностью, пышно именуемой «артистическим темпераментом», — это был редкостный дар надежды, романтический запал, какого я ни в ком больше не встречал и, наверно, не встречу. Нет, Гэтсби себя оправдал под конец; не он, а то, что над ним тяготело, та ядовитая пыль, что вздымалась вокруг его мечты, — вот что заставило меня на время утратить всякий интерес к людским скоротечным печалям и радостям впопыхах.

Я принадлежу к почтенному зажиточному семейству, вот уже в третьем поколении играющему видную роль в жизни нашего средне-

западного городка. Каррауэи — это целый клан, и, по семейному преданию, он ведёт свою родословную от герцогов Бэклу, но родоначальником нашей ветви нужно считать брата моего дедушки, того, что приехал сюда в 1851 году, послал за себя наёмника в Федеральную армию и открыл собственное дело по оптовой торговле скобяным товаром, которое ныне возглавляет мой отец.

Я никогда не видал этого своего предка, но считается, что я на него похож, чему будто бы служит доказательством довольно мрачный портрет, висящий у отца в конторе. Я окончил Йельский университет в 1915 году, ровно через четверть века после моего отца, а немного спустя я принял участие в Великой мировой войне — название, которое принято давать запоздалой миграции тевтонских племён. Контрнаступление настолько меня увлекло, что, вернувшись домой, я никак не мог найти себе покоя. Средний Запад казался мне теперь не кипучим центром мироздания, а скорее обтрёпанным подолом вселенной; и в конце концов я решил уехать на Восток и заняться изучением кредитного дела. Все мои знакомые служили по кредитной части; так неужели там не найдётся места ещё для одного

человека? Был созван весь семейный синклит, словно речь шла о выборе для меня подходящего учебного заведения; тётушки и дядюшки долго совещались, озабоченно хмуря лбы, и наконец нерешительно выговорили: «Ну что-о ж...» Отец согласился в течение одного года оказывать мне финансовую поддержку, и вот, после долгих проволочек, весной 1922 года я приехал в Нью-Йорк, как мне в ту пору казалось — навсегда.

Благоразумней было бы найти квартиру в самом Нью-Йорке, но дело шло к лету, а я ещё не успел отвыкнуть от широких зелёных газонов и ласковой тени деревьев, и потому, когда один молодой сослуживец предложил поселиться вместе с ним где-нибудь в пригороде, мне эта идея очень понравилась. Он подыскал и дом — крытую толем хибарку за восемьдесят долларов в месяц, но в последнюю минуту фирма откомандировала его в Вашингтон, и мне пришлось устраиваться одному. Я завёл собаку, — правда, она сбежала через несколько дней, — купил старенький «додж» и нанял пожилую финку, которая по утрам убирала мою постель и готовила завтрак на электрической плите, бормоча себе под нос какие-то финские премудрости. Поначалу я чувствовал себя

одиноким, но на третье или четвёртое утро меня остановил близ вокзала какой-то человек, видимо только что сошедший с поезда.

— Не скажете ли, как попасть в Уэст-Эгг? — растерянно спросил он.

Я объяснил. И когда я зашагал дальше, чувства одиночества как не бывало. Я был старожилом, первопоселенцем, указывателем дорог. Эта встреча освободила меня от невольной скованности пришельца.

Солнце с каждым днём пригревало сильнее, почки распускались прямо на глазах, как в кино при замедленной съёмке, и во мне уже крепла знакомая, приходившая каждое лето уверенность, что жизнь начинается сызнова.

Так много можно было прочесть книг, так много впитать животворных сил из напоённого свежестью воздуха. Я накупил учебников по экономике капиталовложений, по банковскому и кредитному делу, и, выстроившись на книжной полке, отливая червонным золотом, точно монеты новой чеканки, они сулили раскрыть передо мной сверкающие тайны, известные лишь Мидасу, Моргану и Меценату. Но я не намерен был ограничить себя чтением только этих книг. В колледже у меня обнаружили литературные склонности — я как-то напи-

сал серию весьма глубокомысленных и убедительных передовиц для «Йельского вестника», — и теперь я намерен был снова взяться за перо и снова стать самым узким из всех узких специалистов — так называемым человеком широкого кругозора. Это не парадокс парадокса ради; ведь, в конце концов, жизнь видишь лучше всего, когда наблюдаешь её из единственного окна.

Случаю угодно было сделать меня обитателем одного из самых своеобразных местечек Северной Америки. На длинном, прихотливой формы острове, протянувшемся к востоку от Нью-Йорка, есть среди прочих капризов природы два необычных почвенных образования. Милях в двадцати от города, на задворках пролива Лонг-Айленд, самого обжитого куска водного пространства во всём Западном полушарии, вдаются в воду два совершенно одинаковых мыса, разделённых лишь неширокой бухточкой. Каждый из них представляет собой почти правильный овал — только, подобно Колумбову яйцу, сплюснутый у основания; при этом они настолько повторяют друг друга очертаниями и размерами, что, вероятно, чайки, летая над ними, не перестают удивляться этому необыкновенному сходству. Что до

бескрылых живых существ, то они могут наблюдать феномен ещё более удивительный — полное различие во всём, кроме очертаний и размеров.

Я поселился в Уэст-Эгге, менее, — ну, скажем так: менее фешенебельном из двух посёлков, хотя этот словесный ярлык далеко не выражает причудливого и даже несколько зловещего контраста, о котором идёт речь. Мой домик стоял у самой оконечности мыса, в полусотне ярдов от берега, затиснутый между двумя роскошными виллами, из тех, за которые платят по двенадцать–пятнадцать тысяч в сезон. Особенно великолепно была вилла справа — точная копия какого-нибудь Hôtel de Ville¹ в Нормандии, с угловой башней, где новенькая кладка просвечивала сквозь редкую ещё завесу плюща, с мраморным бассейном для плаванья и садом в сорок с лишком акров земли. Я знал, что это усадьба Гэтсби. Точней, что она принадлежит кому-то по фамилии Гэтсби, так как больше я о нём ничего не знал. Мой домик был тут бельмом на глазу, но бельмом таким крошечным, что его и не замечал никто, и потому я имел возможность, помимо вида

¹ Ратуша (фр.).

на море, наслаждаться ещё видом на кусочек чужого сада и приятным сознанием непосредственного соседства миллионеров — всё за восемьдесят долларов в месяц.

На другой стороне бухты сверкали над водой белые дворцы фешенебельного Ист-Эгга, и, в сущности говоря, история этого лета начинается с того вечера, когда я сел в свой «додж» и поехал на ту сторону, к Бьюкененам в гости. Дэзи Бьюкенен приходилась мне троюродной сестрой, а Тома я знал ещё по университету. И как-то, вскоре после войны, я два дня прогостил у них в Чикаго.

Том, наделённый множеством физических совершенств — нью-хейвенские любители футбола не запомнят другого такого левого крайнего, — был фигурой, в своём роде характерной для Америки, одним из тех молодых людей, которые к двадцати одному году достигают в чём-то самых вершин, и потом, что бы они ни делали, всё кажется спадом. Родители его были баснословно богаты — уже в университете его манера сорить деньгами вызывала нарекания, — и теперь, вздумав перебраться из Чикаго на Восток, он сделал это с размахом поистине ошеломительным: привёз, например, из Лейк-Форест целую конюшню пони для

игры в поло. Трудно было представить себе, что у человека моего поколения может быть достаточно денег для подобных прихотей.

Не знаю, что побудило их переселиться на Восток. Они прожили год во Франции, тоже без особых к тому причин, потом долго скитались по разным углам Европы, куда съезжаются богачи, чтобы вместе играть в поло и наслаждаться своим богатством. Теперь они решили прочно осесть на одном месте, сказала мне Дэзи по телефону. Я, впрочем, не слишком этому верил. Я не мог заглянуть в душу Дэзи, но Том, казалось мне, будет всю жизнь носиться с места на место в чуть тоскливой погоне за безвозвратно утраченной остротой ощущений футболиста.

Вот как вышло, что тёплым, но ветреным вечером я ехал в Ист-Эгг навестить двух старых друзей, которых, в сущности, почти не знал. Их резиденция оказалась ещё изысканней, чем я рисовал себе. Весёлый красный с белым дом в георгианско-колониальном стиле смотрел фасадом в сторону пролива. Зелёный газон начинался почти у самой воды, добрую четверть мили бежал к дому между клумб и дорожек, усыпанных кирпичной крошкой, и, наконец, перепрыгнув через солнечные часы, словно бы

с разбегу взлетал по стене вьющимися виноградными лозами. Ряд высоких двустворчатых окон прорезал фасад по всей длине; сейчас они были распахнуты навстречу тёплому вечернему ветру, и стёкла пламенели отблесками золота, а в дверях, широко расставив ноги, стоял Том Бьюкенен в костюме для верховой езды.

Он изменился с нью-хейвенских времён. Теперь это был плечистый тридцатилетний блондин с твёрдо очерченным ртом и довольно надменными манерами. Но в лице главным были глаза: от их блестящего дерзкого взгляда всегда казалось, будто он с угрозой подаётся вперёд. Даже немного женственная элегантность его костюма для верховой езды не могла скрыть его физическую мощь; казалось, могучим икрам тесно в глянцевитых сапогах, так что шнуровка вот-вот лопнет, а при малейшем движении плеча видно было, как под тонким сукном ходит плотный ком мускулов. Это было тело, полное сокрушительной силы, — жестокое тело.

Он говорил резким, хриловатым тенором, очень подходившим к тому впечатлению, которое он производил, — человека с норовом. И даже в разговоре с приятными ему людьми в голосе у него всегда слышалась нотка

презрительной отеческой снисходительности, — в Нью-Хейвене многие его за это терпеть не могли. Казалось, он говорил: «Я, конечно, сильнее вас, и вообще я не вам чета, но всё же можете не считать моё мнение непререкаемым». На старших курсах мы с ним состояли в одном студенческом обществе, и, хотя дружбы между нами никогда не было, мне всегда казалось, что я ему нравлюсь и что он по-своему, беспокойно, с вызовом, старается понравиться мне.

Мы немного постояли на освещённом вечерним солнцем крыльце.

— Недурное у меня тут пристанище, — сказал он, посверкивая глазами по сторонам.

Слегка нажимая на моё плечо, чтобы заставить меня повернуться, он широким движением руки обвёл открывающуюся с крыльца панораму, включая в неё итальянский, уступами расположенный сад, пол-акра прямо благоухающих роз и тупоносую моторную яхту, покачивающуюся в полосе прибоя.

— Я купил эту усадьбу у Демэйна, нефтяника. — Он снова нажал на моё плечо, вежливо, но круто поворачивая меня к двери. — Ну, пойдём.

Мы прошли через просторный холл и вступили в сияющее розовое пространство, едва

закреплённое в стенах дома высокими окнами справа и слева. Окна были распахнуты и сверкали белизной на фоне зелени, как будто вставшей в дом. Лёгкий ветерок гулял по комнате, трепля занавеси на окнах, развевавшиеся, точно бледные флаги, — то вдувал их внутрь, то выдувал наружу, то вдруг вскидывал вверх, к потолку, похожему на свадебный пирог, облитый глазурью, а по винно-красному коврау рябью бежала тень, как по морской глади под бризом.

Единственным неподвижным предметом в комнате была исполинская тахта, на которой, как на привязанном к якорю аэростате, укрылись две молодые женщины. Их белые платья подрагивали и колыхались, как будто они обе только что опустились здесь после полёта по дому. Я, наверное, несколько мгновений простоял, слушая, как полощутся и хлопают занавеси и поскрипывает картина на стене. Потом что-то стукнуло — Том Бьюкенен затворил окна с одной стороны, — и попавшийся в западню ветер бессильно замер, а занавеси, и ковер, и обе молодые женщины на тахте постепенно опали и пришли в неподвижность.

Младшая из двух женщин была мне незнакома. Она растянулась во весь рост на своём

конце тахты и лежала не шевелясь, чуть закинув голову, как будто на подбородке у неё стоял какой-то предмет, который она с большим трудом удерживала в равновесии. Может быть, она и заметила меня краешком глаза, но виду не подавала; и от растерянности я чуть было не забормотал извинений, что помешал ей своим приходом.

Другая — это была Дэзи — сделала попытку встать: слегка подалась вперёд с озабоченным выражением; но тут же засмеялась звенящим, обворожительно нелепым смехом, и я тоже засмеялся и шагнул к дивану.

— На м-меня от радости столбняк нашёл.

Она опять засмеялась, словно сказала что-то в высшей степени остроумное, и на миг удержала мою руку, заглядывая мне в глаза с таким видом, будто у неё никогда не было более горячего желания, чем меня увидеть. Она умела так смотреть. Потом она шепотком назвала мне фамилию эквилибристки на другом конце дивана: Бейкер. (Злые языки утверждали, что шепоток Дэзи — уловка, цель которой заставить собеседника наклониться к ней поближе; бессмысленный навет, ничуть не лишаящий эту манеру прелести.)

Так или иначе, губы мисс Бейкер дрогнули, она едва заметно кивнула мне головой и тотчас же опять откинула её назад — должно быть, предмет, стоявший у неё на подбородке, качнулся, и она испугалась, что он упадёт. Мне снова неудержимо захотелось извиниться. Апломб и независимость, в чём бы они ни проявлялись, всегда действуют на меня ошеломляюще.

Моя кузина стала задавать мне вопросы своим низким, волнующим голосом. Слушая такой голос, ловишь интонацию каждой фразы, как будто это музыка, которая больше никогда не прозвучит. Лицо Дэзи, миловидное и грустное, оживляли только яркие глаза и яркий чувственный рот, но в голосе было многое, чего не могли потом забыть любившие её мужчины, — певучая властность, негромкий призыв «услышь», отзвук веселья и радостей, только что миновавших, и веселья и радостей, ожидающих впереди.

Я рассказал, что по дороге в Нью-Йорк останавливался на день в Чикаго, и передал ей привет от десятка друзей.

— Так обо мне там скучают? — ликуя, воскликнула она.

— Весь город безутешен. У всех машин левое заднее колесо выкрашено чёрной краской в знак траура, а берега озера всю ночь оглашаются плачем и стенаниями.

— Какая прелесть! Давай вернёмся, Том. Завтра же! — И без всякого перехода она добавила: — Посмотрел бы ты на нашу малышку!

— Я бы очень хотел на неё посмотреть.

— Она уже спит. Ей ведь три года. Ты её никогда не видал?

— Никогда.

— Ну, если бы ты только на неё посмотрел... Она...

Том Бьюкенен, беспокойно бродивший из угла в угол, остановился и положил мне руку на плечо.

— Чем теперь занимаешься, Ник?

— Кредитными операциями.

— У кого?

Я назвал.

— Никогда не слышал, — высокомерно уронил он.

Меня задело.

— Услышишь, — коротко возразил я. — Непременно услышишь, если думаешь обосноваться на Востоке.